



А. Ч. Я нашел тут у вас на полках старый парижский журнал «Числа».

А. С. Хороший журнал.

А. Ч. А в нем стихи Георгия Иванова о Пушкине... И ничего не исправила, не помогла ничему Смутная чудная музыка, слышная только ему.

Стихи опубликованы в начале тридцатых. А сейчас конец девяностых. Давайте поговорим если не об итогах тысячелетия, то об итогах века.

А. С. За тысячелетие я не ручаюсь... А двадцатый век — до некоторой степени моя специальность.

А. Ч. Как вам представляется российский Парнас? Не только поэтический, но и прозаический. Есть там своя иерархия?

А. С. Есть, конечно.

А. Ч. Начнем с поэзии?

А. С. Ну да, ведь в XX веке поэты лидируют. Проза просто не успела развиться. Ее прихватил мороз. Советский мороз. А поэты успели. И русская поэзия двадцатого века — блестящая страница мировой культуры.

А. Ч. Кто же для вас номер один?

А. С. Номера один нет. Я могу сказать, кого я люблю. Ну что делать, если семь гениев после Блока?

А. Ч. Давайте пальцы загибать.

А. С. Я не по порядку. Из акмеистов — Ахматова, еще из поэтов — Цветаева... Из футуристов — Маяковский, Хлебников, Пастернак... Вероятно, еще Ходасевич... Клюев, Есенин...

А. Ч. А Мандельштам пропустили?

А. С. Ой, конечно, пропустил. Он гораздо больше, чем Ахматова. Я ее не очень люблю...

А. Ч. А из «советской» поэзии? Из фронтовиков или более позднего поколения?

А. С. На гения?

А. Ч. На гения.

А. С. На гения никого. Гений — понятие относительное. Я считаю одного, вы другого. Но ведь ряд-то — блестящий!

А. Ч. И все-таки все, кого вы назвали, родились в девятнадцатом веке. Значит, и поэзию морозом побило?

А. С. Ну конечно...

А. Ч. Ведь какой великодушный поэт Борис Слуцкий, а в тот ряд его нельзя...

А. С. Нельзя.

(Синявскому приносят факс. В Москве с поста секретаря Совета Безопасности снят Александр Лебедь.)

А. С. (после паузы) Черт знает что...

А. Ч. Это, кстати, о «чудной музыке», которая не помогает ничему. Продолжим?

А. С. Да.

А. Ч. Видно, в XX веке, кроме поэтического дара, у поэта должна быть еще и трагическая легенда. Все, кого вы назвали...

А. С. Четверых из них я называю «поэты-зрелищники». Это Блок, Маяковский, Цветаева...

А. Ч. Хлебников?

А. С. Да нет, Есенин. Зрелищники все самоубийством кончали. Вот Блок

...Посмотрите на меня. Я стою среди пожаров, Опаленный языками Преисподнего огня...

То есть биография превращается в поэтический факт. Это, конечно, у любого поэта. Но не любой делает из этого зрелище. Причем биография провиденциальная. И все время на грани смерти.

А. Ч. То есть для вас смерть Блока — это тоже самоубийство, да?

А. С. Где-то да. Он ведь с ума сошел. Как зрелищник.

А. Ч. А в прозе есть зрелищники?

А. С. В прозе нет. Там другое. Я люблю так называемую утрированную прозу. И не очень люблю правдоподобную...

А. Ч. Реалистическую?

А. С. Реалистическую. То есть я люблю Лескова, Достоевского, Гоголя. И холоден к Тургеневу, Льву Толстому и даже Чехову.

А. Ч. А к Пушкину?

А. С. Ну, Пушкин... (Смеется.) У Пушкина, конечно, проза не утрированная... Настоящая проза началась с Гоголя, с утрированной прозы. А у Пушкина — только подходы... Хотя гениальная проза, но...

А. Ч. Вот когда пушкинская норма распалась — и при Гоголе постдекабристская Россия пошла на то, что вы называете утрированностью... На какому, в революционные кружки и в конце концов к большевизму, к утопии...

А. С. Ну почему... Господи, ведь большевизм — это очень часто посредственность прозы, так сказать, внешнее правдоподобие. Ведь даже тот же соцреализм — это же не утрированная проза... Это немножко как Чехов, немножко как Лев Толстой и много-много как Державин.

А. Ч. Как кто?..

А. С. Державин. Я шучу. Но ведь это безвкусная проза...

А. Ч. Щедрина вы не называли. Почему?

РЕПЕТИЦИЯ ВОСКРЕСЕНИЯ

Последнее интервью Андрея Синявского

А. С. Ну тогда любой сатирик — утрированная проза... Сатирическая составляющая — это не обязательно. У Зошенко я люблю не сатирические вещи, а трагические. Например, книжку «О чем пел соловей...»

А. Ч. Ну хорошо. А кто же из прозаиков вам наиболее близок в XX веке?

А. С. Бабель.

А. Ч. Первое имя?

А. С. В XX веке — да. А вообще большая проза — это Гоголь.

А. Ч. Но мы все-таки договорились, что говорим об итогах этого века... Платонов рядом с Бабелем встает?

А. С. К сожалению, нет.

А. Ч. Неужели?

А. С. Да. Он для меня слишком sentimental. Я бы сказал, что это такой социалистический sentimentalizm.

А. Ч. Это Андрей-то Платонов? С «Котлованом»?

А. С. Ну с «Котлованом». Бабель — утрированная проза. А Платонов не настолько меня задевает. Я знаю, что это хороший писатель. Но не настолько...

А. Ч. Так кто, кроме Бабеля?

А. С. Тынянов. «Смерть Вазира Мухтара».

А. Ч. Одна книжка?

А. С. Не одна. Еще две-три. «Книже»... Но не «Ключа». С него он начинал...

А. Ч. А более близкие к нашему времени прозаики?

А. С. Я больше люблю поэзию XX века, чем прозу.

А. Ч. Удивительно. Вы же не стихотворец.

А. С. Я филолог. Я люблю модернизм. Да, Набокова я забыл... Как прозаика.

А. Ч. Значит, ваша тройца — Бабель, Тынянов и Набоков?

А. С. Да, хотя это не окончательно.

А. Ч. То есть это говорит не филолог, а читатель и писатель

А. С. Нет. Слабый гениальный роман. Там прекрасные стихи. Отдельные прекрасные куски. Но вместе с тем...

А. Ч. Что же это за чума такая на русскую литературу — утилитарность?

А. С. Наверное, он решил под конец жизни высказаться. Ну высказался. И обо многом правильно... Ну и что? Он уже не мог писать стихи. Вернее, мог, но ему казалось, что все это чепуха. И он зачеркнул свою поэзию... На основании романа... Он писал в письме, что нужно учиться у Симонова... Вообще эти его завихрения...

А. Ч. А кто из стариков был без завихрений? Чуковский?

А. С. Тоже с завихрениями. В его «Дневнике» есть такие страшные страницы... И о Пастернаке тоже... <...>

А. Ч. А из наших современных никто не встает на уровень Бабеля, Тынянова и Набокова?

А. С. Пока нет. Совсем другой масштаб. Я могу только сказать о своих симпатиях. Я люблю Таню Толстую, Кураева — «Капитан Дикштейн»... Замечательная повесть...

А. Ч. С девятнадцатым веком все понятно. С двадцатым — нет. Хотя осталось всего четыре года, и вряд ли мы увидим явление сверхмощных звезд... Когда-то, году в 91-м, вот в этой же комнате вы мне сказали, что ждете расцвета русской культуры. О том же в те годы говорил мне Д. С. Лихачев. Тогда это звучало смело, но было похоже на правду. Но история пошла так, что о расцвете говорить не приходится...

А. С. Я рассуждал, наверное, слишком абстрактно. Советская власть страшно мешала культуре. Я не думал, что доживу до конца советской власти. Я думал, что после моей смерти должно пройти еще лет сто, сто

Толстой? Мы не обязаны даже утрированности до мельчайших подробностей его взгляды или идеологию.

А. Ч. Что же вас поражает в Набокове?

А. С. Острота зрения... Кстати, я люблю «Камеру обскура». Люблю «Король, дама, валет...» «Защиту Лужина» меньше, потому что про шахматы... А если из века выйти в тысячелетие, то я люблю фольклор и древнерусскую литературу... Люблю протопоса Аввакума. Это для меня тоже утрированная проза...

<...> Ну вот, я сам вышел за рамки века... Толстой, вероятно, большой писатель, чем Лесков. Но люблю я Лескова. А Набоков больше всего любил «Анну Каренину». Ну и что? На то мы и разные люди.

А. Ч. То есть ранжированного Парнаса и Олимпа в литературе нет?

А. С. Да, конечно. А зачем?.. Вот я своими «Прогулками с Пушкиным» оскорбил такого очень хорошего пушкиниста Валентина Непомнящего. Почему? Да потому что он Пушкина превращает в Христа. А Пушкин — не Исус Христос. Пушкин — это Пушкин.

А. Ч. Ну нет, он Пушкина в Христа не превращает. В крайнем случае — в Сергея Радонежского... А что, сильно нападали?

А. С. Да нет, но в том смысле, что моя книга его оскорбила. Ну кто-то любит ее... Кто-то не любит... Это ведь нормально. Я только против штампов... Вот когда Исачик (Солженицын. — А. Ч.) стал утверждать, что я ненавижу Пушкина... Но это его злобредство... Исачик знал, что я самого его не люблю...

А. Ч. И как прозаик тоже?

А. С. Я неплохо отношусь к «Одному дню Ивана Денисовича» и к «Архипелагу...». Но у «Архипелага» скорее публицистическая, чем художественная ценность. А эти его романы колоссальные... «Колесо красное» терпеть не могу... И не скрываю. Часто говорю. А Никита Струве доносит. И Исачик мне платит тем же...

А. Ч. И впрямь странно. Солженицын — тот, кто может быть, больше всех сделал для сокрушения коммунизма, а впечатление такое, что структура писательского мышления у него социореалистическая, советская...

А. С. Да, он писатель социализма. С неперенным положительным героем...

А. Ч. Но ведь это удвительно, что есть огромная личность — публицистическая и проповедническая, с очень хорошим художественным, писательским началом, и потом все это как будто куда-то делось... Куда?

А. С. Да проповедник съел.

А. Ч. Писателя?

А. С. Писателя. Так было с Гоголем, Толстым, Маяковским, даже с Пастернаком. Что такое «Доктор Живаго»? Это слабый гениальный роман.

А. Ч. Слабый роман гения?

пятьдесят... Понимаете, советская власть столько вреда причинила культуре, что казалось — устрани ее, и сразу будет расцвет. Наверное, это рассуждение было ошибкой. Расцвет культуры, видимо, складывается из многих, даже из непознаваемых вещей. Почему появился Пушкин? Мы не знаем.

А. Ч. И почему рядом Гоголь, Баратынский, Лермонтов, Тютчев...

А. С. Но что все-таки мне несомненно, хотя ситуация очень печальная — и в плане культурном, и житейском, и социальном... Несомненно, что что-то еще должно принести свои плоды. Потому что нация великая. Потенциал колоссальный... Если б она оказалась бесплодной... Но я просто в это не верю... Опыт разочарования должен принести плоды. Мы пережили в XX веке разочарование не только в коммунизме, но и в революционном движении. Сейчас говорят «А зачем декабристы? Ведь с них все и началось! Они во всем виноваты...» Я встречал таких людей...

С одной стороны — эти разочарования, с другой — разочарование в капитализме. Потому что повторяет всю эту волынку с первоначальным накоплением... Ну богатеть... Какой здесь идеал? И для Запада давно не идеал... Разочарования заставят людей думать. Приведу такой пример... После разочарования во Французской революции во Франции начался литературный расцвет. Это начиная с романтиков, с Шатобриана... И дальше — весь девятнадцатый век — это опыт разочарования. Представляете, чтобы Флобер или Бальзак были очарованы капитализмом?.. Смешно?

А. Ч. Так что же есть литература? Духовное противодействие пошлости? Некая попытка противодействия хаосу путем его гармонизации? Попытка перебороть словом то, что не перебарывается в первой реальности?

А. С. Я думаю, что однозначного ответа нет. Литература очень часто непреложна. Потому оказывается, что страшное разочарование для нее как раз и благотворно. А в другой ситуации — никак не благотворно. Для России естественно развитие литературы. А в какой-нибудь Голландии величайшая живопись, а литературы мы не знаем или почти не знаем...

А. Ч. Андрей Донатович, в чем же тогда тайна литературы? И что такое литература?

А. С. Рабочее объяснение есть...

А. Ч. Ну пусть рабочее.

А. С. Репетиция Воскресения. А Воскресение — это Преображение... Если Воскресение заложено в Божественном замысле всего мира, то может ли это никак не отразиться на человеческой культуре?

А. Ч. Вот и объяснение, почему литература вне морали. Она просто выше морали.

А. С. Да. Кроме того, литература может поворачиваться разными сторонами. Такими, о которых в прошлом не подозревали.

А. Ч. Значит, двадцать первый век, может быть, станет корить нас за то, что мы кого-то проглядели...

А. С. Ну конечно. Сплошь и рядом так и бывает.

А. Ч. И осмысление двадцатого века еще впереди?

А. С. И не только двадцатого.

А. Ч. Мне показалось, что вы подумали об Архангелогородской летописи, которую мы с вами вчерта читали вслух.

А. С. Она меня просто поразила. Я сам никогда этим не занимался. И вряд ли успею...